

**Дмитрий Сергеевич
Мережковский**

Александр Первый

**Москва
Книга по Требованию**

УДК 82-3
ББК 84

Дмитрий Сергеевич Мережковский

Александр Первый / Дмитрий Сергеевич Мережковский – М.: Книга по Требованию, 2011. – 312 с.

ISBN 978-5-4241-1344-4

"Александр Первый" - роман о царствовании известного русского самодержца, правление которого совпало с освободительной войной от французских завоевателей 1812 года.

Адресуется широкому кругу читателей.

ISBN 978-5-4241-1344-4

© Издание на русском языке, оформление, «YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, «Книга по Требованию», 2011

Дмитрий Сергеевич
Мережковский
Александр Первый

Часть первая

Глава первая

Очки погубили карьеру князя Валерьяна Михайловича Голицына.

– Поди-ка сюда, карбонар! За ушко да на солнышко. Расскажи, чего напроказил? Что за история с очками? А? Весь город говорит, а я и не знаю, – сказал, подставляя бритую щеку для поцелуя князю Валерьяну, дядя его, старичок лысенький, кругленький, катавшийся, как шарик, на коротеньких ножках, все лицо в мягких бабьих морщинах, какие бывают у старых актеров и царедворцев, – министр народного просвещения и обер-прокурор Синода, князь Александр Николаевич Голицын.

Когда князь Валерьян, после двухлетнего отсутствия (он только что вернулся из чужих краев), вошел в министерскую приемную, большую, мрачную комнату с окнами на Михайловский замок, так и пахло на него запахом прошлого, вечною скукою повторяющихся снов.

На том же месте опустилась под ним ослабевшая пружина в старом кожаном кресле. Так же на канцелярском зеленом сукне стола лежали запрещенные духовною цензурою книги; «О вреде грибов», прочел он заглавие одной из них: грибы постная пища, – догадался, – нельзя сомневаться в их пользе. Теми же снимками со всех изображений Спасителя, какие только существуют на свете, увешаны были стены приемной: лик Господень превращен в обойный узор. Так же рдела в глубине соседней комнаты-молельни темно-красная лампада в виде кровавого сердца; так же пахло застарелым, точно покойническим, ладаном.

– Помилосердуйте, дядюшка! Вы уже двадцатый меня об этом сегодня спрашиваете, – сказал князь Валерьян, глядя на старого князя из-под знаменитых очков, с тонкой усмешкой на сухом, желчном и умном лице, напоминавшем лицо Грибоедова.

– Да ну же, ну, говори толком, в чем дело?

– Дело выеденного яйца не стоит. На вчерашнем дворцовом выходе в очках явился; отвык от здешних порядков – из памяти вон, что в присутствии особ высочайших ношение очков не дозволено...

– Поздравляю, племянничек! Камер-юнкер в очках! И свой карьер испортил, и меня, старика, подвел. Да еще в такую минуту...

– Из-за очков падение министерства, что ли?

– Не шути, мой друг, не доведут тебя до добра эти шутки...

– Что за шутки! Завтра к Аракчееву являться. Ежели в крепость или в тележку посадят с фельдъегерем, – только на вас и надежда, дядюшка!

– Не надейся, душа моя! Я от тебя отступился: советов не слушаешь, сам лезешь в петлю. Думаешь, не знает начальство, какая у вас каша заваривается? Все знает, мой милый, все. Погоди-ка, уж выведут вас на чистую воду, господа карбонары... А письмо-то, письмо? Это еще что такое? Откровенничать вздумал по почте? Уж если так приспичило, можно бы, чай, и с оказией...

В перехваченном тайной полицией и представленном государю письме князь Валерьян называл Аракчеева «гадиной». Князь Александр Николаевич ненавидел Аракчеева; не кланялся с ним даже во дворце, в присутствии государя. Князь

Валерьян знал, что за это письмо дядя готов простить ему многое.

– Я всегда полагал, ваше сиятельство, – проговорил он с еще более тонкой усмешкой на слегка побледневших губах, – что заглядывать в частные письма все равно, что у дверей подслушивать...

Старик зашикал, замахал руками.

– Если желаете, сударь, продолжать со мною знакомство, извольте выбирать выражения ваши, – сказал он по-французски.

– Виноват, ваше сиятельство, но, право, мочи нет! Вся кровь в желчь превращается. Я понимаю, что можно здоровому человеку привыкнуть жить в желтом доме с сумасшедшими, но честному с подлецами в лакейской – нельзя.

– Вы, очень изменились, мой милый, очень изменились, – покачал головой дядюшка. – И скажу прямо, не к лучшему: эти заграничные знакомства вам не впрок.

«Успели-таки донести, мерзавцы!» – подумал князь Валерьян. Заграничное знакомство был вольнодумный философ Чаадаев, с которым он сблизился во время своего пребывания в Париже.

– Я вижу, дорогой мой, вы все еще не можете освободиться от самого себя и обратиться в то ничто, которое едино способно творить волю Господню, – проговорил дядюшка и завел глаза к небу. – Как блудный сын, покинули вы отчий дом и рады питаться свиными рожками на полях иноплеменников...

«Свиные рожки – конституция», – догадался князь Валерьян.

Долго еще говорил дядюшка об Иисусе сладчайшем, о совлечении ветхого Адама и воскрешении Лазаря, о состоянии Марии, долженствующем заменить состояние Марфы, о божественной росе¹ и воздыханьях голубицы.²

Князь Валерьян слушал с тоскою. «Тюлевый бы чепчик с рюшками тебе на лысинку, и точь-в-точь Крюденерша пророчица!»³ – думал он, глядя на старого князя.

– Всякая власть от Бога. Христианин и возмутитель против власти, от Бога установленной, есть совершенное противоречие, – кончил старик тем, чем кончались все подобные проповеди.

– А ведь я и забыл, ваше сиятельство, – успел, наконец, вставить князь Валерьян, – поручение от Марьи Антоновны...

Взял со стола сверток, развязал и подал, не без камер-юнкерской ловкости, шелковую подушечку, из тех, какие употреблялись для коленапреклонений во время молитвы, с вышитым католическим пламенеющим сердцем Иисусовым.

– Собственными ручками вышить изволили. Пусть, говорят, будет князю память о друге верном всегда, особенно же ныне, в претерпеваемых им безвинно гонениях.

– Ах, милая, милая! Вот истинная дочь Израиля! – умилился дядюшка. – Будешь у нее сегодня на концерте Вьельгорского?

– Буду.

– Ну, так скажи ей, что завтра же приеду расцеловать ручки.

В любовных ссорах государя с Марьей Антоновной Нарышкиной князь Александр Николаевич Голицын был всегдашним примирителем, за что злые языки называли его «старою своднею». – «Тридцатилетний друг царев, угождая плоти, миру и дьяволу, князь всегда был заодно с царем, в таких делах, о них же нельзя и глаголати», – обличал его архимандрит Фотий.

– И еще порученьице, дядюшка: узнать о министерских делах, о кознях врагов.
– Сам расскажу ей... А, впрочем, вы, может быть, там больше нашего знаете?
Ну-ка, что слышал? Рассказывай.

– Много ходит слухов. Говорят, министерства вашего дни сочтены; в заговоре, будуго, отец Фотий с Аракчеевым...

– И с Магницким.

– Быть не может! Магницкий – сын о Христе возлюбленный... А ведь говорил я вам, дядюшка: берегитесь Магницкого. Шельма, каких свет не видал, – помесь курицы с гиеною.

– Как, как? Курицы с гиеною? Недурно. Ты иногда бываешь остроумен, мой милый...

– А помните, ваше сиятельство, как исцеляли бесноватого? – спросил князь Валерьян.

– Да, представь себе, кто бы мог подумать? Мошенники... Ну, да что Магницкий! Бог с ним. А вот отец Фотий, отец Фотий, – какой сюрприз!

Сбегал в кабинет и вернулся с двумя письмами.

– Читай.

«Ваше сиятельство, высокочтимый князь! Ты и я – как тело и душа. Сердце одно мы. Христос посреди нас и есть будет», – кончалось одно письмо, от Фотия.

Другое – черновик, ответ Голицына.

«Высокопреподобный отче Фотий! Свидания с вами жажду, как холодной воды в жаркий день. Орошаюсь слезами и прошу у Господа крыл голубиных, чтобы лететь к вам. Воистину Христос посреди нас».

– Ах, дядюшка, дядюшка, погубит вас доброе сердце! – едва удержался князь Валерьян от злорадного смеха.

– Бог милостив, мой друг! Сколько люди меня ни обманывают, а я в дураках не бывал. Так вот и нынче. Министерство отнять хотят. Да я радешенек! Только того и желаю, чтобы на свободе подумать о спасеньи души...

Опять завел глаза к небу.

– У государя – вот у кого доброе сердце, – вздохнул с умилением. – Ну, *тот* этим и пользуется...

«Тот» был Аракчеев: старый князь так ненавидел его, что никогда не называл по имени.

– Подойдет тихохонько, склонив голову набок, и пригорюнится: «Государь батюшка, ваше величество, одолели меня, старика, немощи, увольте в отставку»...

Князь Валерьян взглянул на дядюшку и замер от удивления: мягкие бабы морщины сделались жесткими, глаза потухли, щеки впали, лицо вытянулось, – живой Аракчеев. Но исчезло видение, и опять сидел перед ним благочестивый проповедник; только где-то, в самой глубине глаз, искрилась шалость.

Вспомнился князю Валерьяну рассказ, слышанный от самого дядюшки, как однажды в юности, еще камер-пажем, побился он об заклад, что дернет за косу императора Павла I. И действительно, стоя за государевым стулом во время обеда, изловчился, – дернул, государь обернулся. «Ваше величество, коса покривилась, я исправил». – «А, спасибо, дружок!»

– Так-то, мой милый, – продолжал дядюшка. – Говоря между нами, это министерство просвещения у меня вот где! Сыт по горло. Не министерство, а гнездо

демонское, которого очистить нельзя, – разве ангел с неба сойдет. Все училища – школы разврата. Новая философия изрыгнула адские лжемудрствования и уже стоит среди Европы с поднятым кинжалом. Кричат: науки! науки! А мы, христиане, знаем, что в злохудожную душу не ввидет премудрость, ниже обитает в телеси, повинном греху. И что можно сделать доброго книгами? Все уже написано. Буква мертвит, а дух животворит... Я бы, мой друг, все книги сжег! – закончил он с тою же резвостью, с которою, должно быть, дергал императора за косу.

«Ах, шалун, шалун! – думал князь Валерьян. – Сколько зла наделал, а ведь вот невинен, как дитя новорожденное».

– Ты что на меня так уставился? Аль не по шерстке? Ничего, брат, стерпитя, слюбитя. Ты еще вернешься к нам...

Посмотрел на часы.

– В Синод пора, два архиерея ждут. Ну, Господь с тобой. Дай перекрещу. Вот так, – теперь не бойся, ничего тебе тот не сделает. А право же, возвращайся-ка к нам, блудный сынок!

– Нет уж, дядюшка, куда мне? Горбатого разве могилка исправит.

– Не могилка, а девица Турчанинова.

– Какая девица?

– Не слышал? Удивительно. Исцеляет взглядом горбатых и глухонемых. Я собственными глазами видел сына генерала Толя, с одной ногой короче другой, и – представь себе! – через месяц ноги сравнялись. Силу эту уподобить можно помпе или – как это? – насосу, что ли, извлекающему из природы магнетизм животный... Сейчас некогда, потом расскажу. Хочешь к ней съездить?

– С удовольствием. Может быть, и меня выправит?

– А ты что думал? Богу все возможно. Или не веришь?

– Верю, дядюшка! А только знаете, что мне иногда в голову приходит: если бы Сам Христос стал творить чудеса и проповедовать на Адмиралтейской или Дворцовой площади, тут и до Пилата не дошло бы, а первый кварталный взял бы Его на съезжую. И архиереи ваши не заступились бы...

«Ни вы, ни вы, ваше сиятельство!» – едва не сорвалось у него с языка – и, не дожидаясь ответа, выбежал из комнаты.

Старый князь только пожал плечами.

– Беспутная голова, а сердце доброе. Жаль, что скверно кончит!

Глава вторая

.....

Вскоре после Аустерлица появилось в иностранных газетах известие из Петербурга: «Госпожа Нарышкина победила всех своих соперниц. Государь был у нее в первый же день по своем возвращении из армии. Доселе связь была тайной; теперь же Нарышкина выставляет ее напоказ, и все перед ней на коленях. Эта открытая связь мучит императрицу».

Однажды на придворном балу государыня спросила Марью Антоновну об ее здоровье.

– Не совсем хорошо, – ответила та, – я, кажется, беременна.

Обе знали от кого.

«Поведение вашего супруга возмутительно, – особенно, маленькие обеды с этой тварью, в собственном кабинете его, рядом с вами», – писала дочери своей, русской императрице, великая герцогиня Баденская. Шла речь о разводе.

Но за двадцать лет к этому все привыкли, и уже никто не удивлялся. Марья Антоновна была так хороша, что не хватало духа осудить ее любовника.

«Разиня рот, стоял я в театре перед ее ложей и преглупым образом дивился красоте ее, до того совершенной, что она казалась неестественной, невозможной», – вспоминал через много лет один из ее поклонников.

«Скажи ей, что она ангел, – писал Кутузов жене, – и что если я боготворю женщин, то для того только, что она – сего пола: а если б она мужчиной была, тогда бы все женщины были мне равнодушны».

Всех Аспазия милей
Черными очей огнями,
Грудью пышною своей...
Она чувствует, вздыхает,
Нежная видна душа;
И сама того не знает,
Чем всех боле хороша, —

пел старик Державин.

Никто не удивлялся и тому, что у мужа Марьи Антоновны, Дмитрия Львовича Нарышкина, две должности: явная – обер-гофмейстера и тайная – «снисходительного мужа» или, как шутники говорили, «великого мастера масонской ложи рогносцев».

Добродетельная императрица Мария Федоровна писала добродетельной супруге Марье Антоновне: «Супруг ваш доставляет мне удовольствие, говоря о вас с чувствами такой любви, коей, полагаю, немногие жены, подобно вам, похвалиться могут».

Любовник, впрочем, был не менее снисходителен, чем муж. Однажды застал он Марью Антоновну врасплох со своим адъютантом Ожаровским. Но она сумела убедить государя, что ничего не было, и он поверил ей больше, чем глазам своим. Следовали другие, бесчисленные, большею частью из молоденьких флигель-адъютантов.

.....

Обе дочери государя от Елизаветы Алексеевны умерли в младенчестве. Первая дочь от Марьи Антоновны умерла тоже. Вторая, Софья, осталась в живых, но с детства была слаба грудью. Опасались чахотки. Этот последний и единственный ребенок, которого государь считал своим, о чем, однако, спорили, – маленькая Софочка – была его любимицей.

Благодаря дяде своему, старому другу дома, князь Валерьян Михайлович принят был у Нарышкиных как родной. Софья любила его как сестра. Он ее – больше, чем брат, хотя сам того не знал. Надолго разлучались, – Софью часто увозили на юг, – как будто забывали друг друга, но сходились опять как родные.

– Лучшего жениха не надо для Софьи, – говорила Марья Антоновна.

Но на Веронском конгрессе государь представил ей другого жениха, графа Андрея Петровича Шувалова, только что зачисленного в коллегию иностранных дел, молодого дипломата меттерниховской школы.

Как все Шуваловы, граф Андрей был искателен, ловок и вкрадчив; втируша, тихоня, ласковый теленок, который двух маток сосет. Такие, впрочем, государю нравились.

Старая графиня, мать жениха, долго жившая в Италии, перешла в католичество. Римские отцы-иезуиты начали свадьбу, а парижские шарлатаны кончили. Месмерово лечение тогда снова входило в моду. Принялись лечить и Софью. Граф Андрей магнетизировал ее, по предписанию ясновидящих. Пятнадцатилетняя девочка, почти ребенок, отдала ему руку свою, как отдала бы ее первому встречному, по воле отца, сама не зная, что делает.

Князь Валерьян, тоже бывший тогда в Вероне, только утратив Софью, понял, как ее любил. Он уехал в Париж к Чаадаеву. Беседы с мудрецом не утешили его, но дали надежду заменить любовь к женщине любовью к Богу и к отечеству.

Года через два, с дозволения ясновидящих, Софью привезли в Петербург, где назначена была свадьба. Зимой начались обычные среды у Нарышкиных, на Фонтанке, близ Аничкина моста.

Урожденная княгиня Святополк-Четвертинская, Марья Антоновна была ревностной полькой и собирала вокруг себя польских патриотов. Уверяли, будто конституцией Польша обязана ей. И русские либералы видели в ней свою заступницу. Салон ее был единственным местом в Петербурге, где можно было говорить свободно не только о вреде взяток, но и о самом Аракчееве, которого она ненавидела.

По средам, в Великом посту, у Нарышкиных давались концерты. В ту среду, в которую собрался к ним князь Валерьян, в первый раз по возвращении своем в Петербург, назначен был концерт знаменитого музыканта-любителя, графа Михаила Виельгорского.

Когда князь Валерьян вошел в белый зал с колоннами и огромным, во всю стену, зеркалом, отражавшим портрет юного императора Александра Павловича, первая половина концерта кончилась, и последний звук виолончели замер, как человеческое рыдание. Послышались рукоплескания, шум отодвигаемых стульев, шорох дамских платьев и жужжащий говор толпы. Раззолоченные арапы высоко поднимали над головами гостей подносы с мороженым; поправляли восковые свечи в жирандолях.

Голицын увидел издалека своего приятеля, лейб-гвардии полковника, князя Сергея Трубецкого, директора Северной управы Тайного Общества, и хотел подойти к нему, чтобы переговорить окончательно о своем, уже почти решенном, поступлении в члены Общества, но раздумал: решил – потом.

Опять, как давеча, в приемной у дядюшки, пахло на него знакомым запахом прошлого, вечною скукою повторяющихся снов.

Все так же, как два года назад: так же воскликнула, повторяя, видимо, заученную фразу, пожилая дама с голыми костлявыми плечами:

– Граф Михаил играет, как ангелы на концертах у Господа Бога!

Так же склонился и шепчет что-то на ухо графине Елене Радзивилл о. Розавенна, иезуит, молодой, красивый итальянец, идол петербургских дам, похожий, в своей шелковой черной сутане, на черного, гладкого кота, который, выгнув спину, ласково мурлычет; нельзя понять, любезничает или исповедует; с одинаковым искусством передает любовные записочки и причащает из тайной дароносицы, тут же, на великосветских раутах, своих поклонниц, новообращенных

в католичество. «Ушком» прозвали графиню Елену за то, что она краснела не лицом, а одним из своих прелестных, как перламутровые раковинки, ушек. И теперь под ласковый шепот о Розавенны недаром у нее краснеет ушко: может быть, по примеру хорошенькой графини Куракиной, сожжет себе пальчик на свечке, чтобы уподобиться христианским мученицам. А девятиностолетняя бабушка Архарова, в пунцовом халдейском тюрбане, с ярко-зелеными перьями, нарумяненная, похожая на свою собственную моську, которая вечно храпит у нее на коленях, смотрит ехидно в лорнет на эту парочку – отца-иезуита с графиней Ушком – и, должно быть, готовит злую сплетню.

На своем обычном месте, поближе к печке, сидит баснописец Крылов. Видно, как пришел, – завалился в кресло, чтобы не вставать до самого ужина: «Спасибо хозяйшке-умнице, что место мое не занято; тут потеплее». В поношенном, просторном, как халат, фраке табачного цвета, с медными пуговицами и потускневшей орденской звездой, эта огромная туша кажется необходимой мебелью. Руки уперлись в колени, потому что уже не сходятся на брюхе; рот слегка перекошен от бывшего два года назад удара; лицо жирное, белое, расплывшееся, как опара в квашне, ничего не выражающее, разве только что жареного гуся с груздями за обедом объелся и ожидает поросенка под хреном к ужину, несмотря на Великий пост: «У меня, грешного, – говаривал, – по натуре своей, желудок к посту неудобен». Дремлет; иногда приоткроет один глаз, посмотрит из-под нависшей брови, прислушается, усмехнется не без тонкого лукавства – и опять дремлет:

Не движась, я смотрю на суету мирскую

И философствую сквозь сон.

А подойдет к нему сановник в золотом шитье: «Как ваше драгоценное, Иван Андреевич?» – и дремоты как не бывало: вскочит вдруг с косолапою ловкостью, легкостью медведя, под барабан танцующего на ярмарке, изогнется весь, рассыпаясь в учтивостях, – вот-вот в плечико его превосходительство чмокнет. Потом опять завалится – дремлет.

Так и пахло на Голицына от этой крыловской туши, как из печки, родным теплом, родным удушьем. Вспоминалось слово Пушкина: «Крылов – представитель русского духа; не ручаюсь, чтобы он отчасти не вонял; в старину наш народ назывался *смерд*». И в самом деле, здесь, в замороженном приличии большого света, в благоуханиях пармской фиалки и буке-а-ля-маршаль, эта отечественная непристойность напоминала запах рыбного садка у Пантелеймонского моста или гнилой капусты из погребов Пустого рынка.

– Давно ли, батюшка, из чужих краев? – поздоровался Крылов с Голицыным, проговорив это с такою ленью в голосе, что, видно было, его самого в чужие края калачом не заманишь.

– В старых-то зданиях, Иван Андреевич, всегда клопам вод, – продолжал начатый разговор князь Нелединский-Мелецкий, секретарь императрицы Марии Федоровны, директор карточной экспедиции, маленький, пузатенький старичок, похожий на старую бабу: – вот и в Зимнем дворце, и в Аничкином, и в Царском – клопов тьма-тьмушая, никак не выведут...

Почему-то всегда такие несветские разговоры заводились около Ивана Андреевича.

– Да и у нас, в Публичной библиотеке, клопов не оберешься, а здание-то новое.

От книг, что ли? Книга, говорят, клопа родит, – заметил Крылов.

– Была у меня в Москве, у Харитонья, фатерка изрядненькая, – улыбнулся Нелединский приятному воспоминанию, – и светленько, и тепленько, – словом, всем хорошо. А клопов такая пропасть, как нигде я не выдывал. «Что это, говорю хозяйскому приказчику, какая у вас в доме нечисть?» А он: «Извольте, говорит, сударь, посмотреть – на стенке билет против клопов». Велел принести: какое-нибудь, думаю, средство или клоповщика местожительство. И что же, представьте себе, на билете написано, – святому священномученику Дионисию Ареопагиту молитва!

– Н-да, точно, Ареопагит клопу изводчик, – промямлил Крылов, зевая и крестя рот. – Ежели который человек верит, то по вере ему и бывает...

– А меня почечуй, батюшки, замучил, – не расслышав, о чем говорят, зашамкал другой старичок, сенатор, дряхлый-предряхлый, с отвислой губой. – И еще маленькие вертижцы...⁴

– Какие вертижцы? – спросил Нелединский с досадой.

– Вертижцы... когда голова кругом идет... Помню, во дни блаженной памяти Екатерины матушки... – начал он и, как всегда, не кончил: его никто не слушал; со своим почечуем-геморроем он лез ко всем, даже, по рассеянности, к дамам.

– Опять разболтал! И какой тебя черт за язык дергает? – выговаривал князь Вяземский Александру Ивановичу Тургеневу. – Ну, можно ли такие письма в клубе показывать? Разблагостят по городу, попадет в тайную полицию – и поминай Сверчка как звали...

Голицын прислушался. Он знал, что Сверчок – арзамасское прозвище Пушкина. Вместе с Тургеневым и Вяземским случилось ему не раз хлопотать у дядошки за ссыльного коллежского секретаря Пушкина.

– Слышали, князь? – обратился к нему Вяземский.

– Нет. Какое письмо?

– А вот какое, – зашептал ему Тургенев на ухо знаменитые строки, которые так часто повторял, что затвердил их наизусть: – «ты хочешь знать, что я делаю. Беру уроки чистого афеизма. Система не столь утешительная, как обыкновенно думают, но, к несчастью, более всего правдоподобная».

– Ну, посудите сами, князь, неужели за такой вздор...

– Да ты где живешь, братец, на луне, что ли? – опять загорячился Вяземский: – будто не знаешь, что нынче в России за какой угодно вздор...

– Ну, не ворчи, полно, не буду... А Сверчок-то, говорят, опять в пух проигрался?

– Мало ли врут? Вот распустили наемни слух, будто застрелился...

– Ну, нет, не застрелился, – усмехнулся Тургенев, – словечко-то его поминь: «Только бы жить!» Кто другой, а Пушкин, небось, не застрелится...

Подошел хозяин, Дмитрий Львович Нарышкин; одетый по-старинному, в пудре, в чулках и башмаках с красными каблучками – настоящий маркиз Людовика XV; иногда судорога дергала лицо его, так что он язык высовывал, точно поддразнивал; но все же величествен, как старый петух, хотя и с продолбленной головой, а шагающий с важностью.

– А ваш-то пострел Пушкин опять пресмешные стишки сочинил, слышали? – сказал он, присоединяясь к собеседникам.

– А ну-ка, ну? – залюбопытствовал Тургенев и подставил ухо с жадностью.